

## Наталья ВЕСЕЛОВА

Родилась в 1967 году в Ленинграде. Окончила филологический факультет ЛГУ. Шеф-редактор литературного журнала «Золотое слово».

Автор 16 книг (повести, романы), постоянных публикаций в периодике (рассказы, очерки, эссе). В петербургском театре «Родом из блокады» читаются отрывки из повести «Друг мой, кот...».

Лауреат второй степени литературной премии «Гордость Державы Российской» за повесть «Одиннадцатый час» (2008). Обладатель Гран-при в номинации «Современная русская проза» всероссийского конкурса «Лермонтовские сезоны» (2021). Член Российского межрегионального союза писателей и Академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина.

Живет в Санкт-Петербурге.

## НА СЕВЕРНОМ СКЛОНЕ

Рассказ-притча

*Пусть на северном склоне – зато, вроде, рядышком,  
смерть проста и легка, приручая всерьёз –  
там, на солнышке, проще, наверно – есть батюшка...  
А у нас всё причастье – снежинки из слёз.*

А. Маничев

*Туманный склон полого уходит вверх. Как выглядит вершина горы, спрятавшаяся в мнимо прозрачной мгле, точно не знает никто из тех, кто с надеждой и страхом устремляет взгляд к верхней доступной его зрению точке, – и у каждого разные предположения. Кто-то рассказывает о серебристом мерцании, исполненном снующих теней, другой описывает заросли эдельвейсов, покрывающих, по его мнению, светлую поляну на высоком уступе, третий уверяет, что ясно различил неопределимо красивых золоторунных горных животных с грациозно изогнутыми рогами, непринужденно перелетающих вдоль отвесных участков горы с одного невидимого каменного карниза на другой – без опаски сорваться, без красования перед изумленным зрителем – с истинно ангельским бесстрашием... Что там на самом деле скрывается? Почему на первый взгляд путешествие вверх по пологому склону представляется сплошным удовольствием, а на деле выматывает дерзкого ходока так, что он непременно возвращается с четвертьдороги, чувствуя себя шелудивым псом, сбежавшим со двора от хозяина и избитого палкой заслушание?*

Иногда кажется, что туман над вершиной почти готов рассеяться, — во всяком случае, вспыхивает за ним теплый, несказанно белый свет, к которому устремлено все живое на этой горе — и люди, и вся остальная одушевленная тварь, включая сюда не только меховых, пернатых и чешуйчатых, но и трепещущие травы, и поющие воды ручьев. Но таинственная дымка окончательно никогда не покидает вершину — жители и хотят этого, и боятся: вдруг свет окажется слишком ярким и жгучим — таким, что спалит их просторные дома, их пышные деревья со зрелыми плодами да и сами бесстыдно воздетые глаза выжжет напрочь, оставив непочтительных поселенцев в вечной тьме?

Но если не задаваться всеми этими странными вопросами — а здесь считается дурным тоном ими задаваться, — то жизнь на некрутом склоне, который почему-то все зовут «северным», вполне сносная — настолько, что большинство другой и не желало бы. Множество премилых внешне и вполне крепких, светлых и добротных, как в гляцевых журналах о загородной недвижимости, теремов, домов и домиков разбросано по широким уютным уступам — некоторые из них окружены яркими благоухающими цветниками, другие стоят в тенистых садах с резными беседками и лопотливыми фонтанчиками, но есть и такие, что бесстрашно глядят широкими окнами на отвесный обрыв, под которым тоже всегда стоит туман, — только не радостный и многообещающий, как наверху, а неприятно темный, бурый и сырой. Те, кто поселился здесь не сразу, а пришел, преодолев долгий и тяжкий путь от самого подножия, никогда не рассказывают о том, что видели внизу, — да и сами стараются поскорей забыть...

Соне не совсем повезло: Сергей, мужчина, который пробыл ее мужем целых сорок шесть лет, пролетевших незаметно, как послеобеденная дрема, — ее любимый Сережа именно из тех людей, кто вопросами — задается. И даже предпринимает попытки скалолазания — безуспешные, разумеется, попытки. Более того, он повторяет их всякий раз, когда от дочки приходит посылка, — обычно она посылает своим старикам пышный сдобный пирог, который они честно делят пополам, — и Соня после этого радостно летит на церковную службу, а Сергей, преисполнившись новых сил и надежд, собирается в путь. Раньше Соня деятельно отговаривала его, боясь, что он найдет себе пристанище где-то выше, поселится там с кем-то другим — мало ли добрых людей, близких или просто знакомых, можно найти на трудных горных путях! — и к ней не вернется. Но теперь-то женщина знает точно, что место этого неугомонного мужчины и раньше было, и сейчас есть — рядом с ней. И он всегда будет возвращаться. И лежать — обиженным и измученным, со сбитыми в кровь ногами, полуслепым после столкновения с усиливающимся по мере подъема невыносимым светом, в бессчетный раз слушая ее неловкие утешения... Как сейчас.

— Каждому свое. Ну есть уже у нас этот дом — и слава богу! Чем он тебе плох? Или ты просто от меня убежать хочешь? Думаешь, это я тебя здесь держу, а не будь меня — ты бы с легкостью и на самой вершине обосновался?

— Глупости говоришь. Ты и сама прекрасно понимаешь, что у нас никого ближе друг друга нет. Если я найду место для жизни где-то повыше, то и ты туда доберешься. Не сможешь не добраться.

— Но я не хочу. Мне и здесь хорошо, а там неуютно. Десять шагов вверх пройду — и уже ноги ломит. Ты ведь знаешь, я с трудом даже к Маше ходила, хотя они живут, считай, на одной прямой с нами, окна

в окна. Но, видать, на одной – да не совсем: все-таки чуть-чуть, а в гору дорога идет. Я считала: от наших ворот до их всего сто семьдесят четыре шага – так бывало, пока дойду, все равно три раза отдохнуть сажусь, и после каждого привала кажется, что большие не встану. Да и там у них все время неловко как-то, места себе не могу найти, разговор не клеится, и так тревожно, так светло во всех комнатах, что глаза слезятся... Прошу ее – мол, лучше ты к нам приходи, под горку-то, чай, легче бежать! А она мне – темно, мол, у вас и холодно. Вот и договорились встречаться на полпути – в той беседке с розами и фонтаном. И все равно обоим неважно там. А что неважно – и не поймешь... И не видеться не можем: с детского садика всю жизнь подружились! Только всего вместе пережито...

– А ей дети посылки шлют? Смотрю, пояс у нее такой же, как наши, – помнишь, Ниночка нам их еще в самом начале прислала? Мягкий какой, яркий – и не линяет со временем... Дай, я твой поглажу... Да, и мой такой же, вот, потрогай... А Маше твоей тоже дети прислали?

– Нет, это сестра ее младшая... Также в самом начале. И посылки долго слала – маленькие такие каравайчики – а теперь... Трудно ей, наверное, старая ведь уже – под девяносто, должно быть, подвалило. Уточню у Маши в следующий раз. А про детей ее лучше и не спрашивай. Беспутные оба выросли. Она даже не знает, где они сейчас.

– Да что уж теперь. Хорошо, хоть наша Ниночка... Как думаешь, она здесь, с нами, поселится?

– Ха, размечтался, старый... Но к нам она точно сразу зайдет, как придет. И котя своего заберет. Вон, смотри – ждет ее, все ушами прядает, не идет ли хозяйка... Барсик, Нина! Где Нина? Гляди-ка, вскочил и хвост трубой... Нету еще твоей Нины... Не приехала пока...

– Ну зачем ты, Соня, животное травмируешь? Видишь, как он обиженно смотрит... И его, между прочим, не Барсик зовут, а...

– Ах, Сережа, какая разница! Все коты – Барсики. Скажите, пожалуйста, – обиделся он... Ну, и иди себе в сад, усатый-полосатый, выглядывай свою Нину.

– Он не полосатый. Зачем ты так про абиссинца? Он светло-коричневый, с переливами – просто хищник... И эти глаза... Как у египетской царицы – длинные и зеленые. Никогда не думал, что могу полюбить кота.

– А помнишь, когда Ниночка только принесла его домой – у однокурницы оказалась аллергия на кошек, и нам пришлось его взять, – как ты был против! «Убери от меня своего кота! Я к нему равнодушен!» Что, скажешь, не твои слова? Но он все равно тебя покорила своей красотой и обхождением... Однажды захожу я в гостиную – там, в Петербурге, – а ты сидишь в кресле – умиротворенный такой – и гладишь кота, который мурлычет у тебя на коленях, и даже чешешь ему за ушами. Но только ты увидел меня – сразу отдернул руки и спрятал их за спину, – как мальчишка, которого застукали за тайным поеданием варенья... И еще лицо сделал такое недовольное – мол, вот, вспрыгнуло на меня противное животное, и теперь не знаю, как его согнать... Я пощадила твою гордость и не сказала, что видела.

– Зато сейчас сказала. Впрочем, это уже не имеет значения: кот с нами, ждет Нину, и зовут его...

– А можно, я тебе признаюсь в чем-то ужасном? Я сейчас вспомнила, что так тебе про это и не рассказала тогда.

– Соня! Неужели ты мне все-таки когда-нибудь изменила?.. Нет, я ничего, я просто так спросил. Признавайся, конечно, если хочешь...

– У тебя даже сейчас мозги на это настроены... Но нет, я хотела рассказать про хомячка. Того, рыжего с белым...

– Хомячка?! Какое... А, ну да, конечно, у нас был хомячок... Хомячиха... Нюся. Которая не пойми как исчезла в квартире – или из квартиры! – а мы так ее и не нашли. Ниночка, бедняжка, проревела целый месяц. Она, кажется, тогда даже в школу не ходила еще... Так ты что – нашла его высохший трупик в каком-нибудь углу?

– Нет, Сережа. Я его убила.

\* \* \*

Она просто уронила это проклятое кольцо, когда снимала с пальца. Серебряное кольцо без камней, массивное, довольно уродливое, крепко державшееся только на указательном пальце, а на среднем некрасиво вертевшееся, норовя спрятать резную печатку. Оно с легким звоном запрыгало по линолеуму, звук явно направлялся под тахту, и Нинин взгляд за ним безнадежно опоздал. Звук оказался быстрее взгляда... Нина честно исползала на карачках весь пол – при этом очень глубоко внутри, как всегда, обозначился привычный страх найти где-нибудь в дальнем углу сухую и легкую мумию хомячка, так же бесследно испарившегося из квартиры в канувших семидесятих, – она и в первый класс еще не пошла тогда. Но ни кольца, ни мумии она так и не обнаружила – нигде, хотя первое искала на совесть, сначала со вниманием, потом с удивлением, потом кому-то назло... Кольцо словно провалилось в другое измерение или галактику. С тех пор прошло около двадцати семи лет – но у Нины до сих пор иногда ни с того ни с сего просыпалось недоверие – не может же быть, чтобы вполне осязаемый предмет за миг распался на атомы! – и тогда она в очередной раз предпринимала дежурную попытку отыскать давнюю пропажу – все так же безрезультатно.

Но, положив руку на сердце, она всегда считала, что с ее жизнью что-то не так – а может, и не с жизнью, а просто с ней самой. Потому что кое-что пропадало, а кое-что и появлялось, вопреки логике и твердым законам бытия. Например, новая перчатка на меху, обидно потерянная в продуктовой «стекляшке», вдруг коварно появилась на тумбе в прихожей – притом что никак не могла оказаться банально забытой там: ведь не в одной же перчатке прошла Нина восемьсот метров в двадцатиградусный мороз до знакомого магазина!

А кружка, из которой много лет мама пила свой бледно-желтый из-за лимона чай! Нина с детства знала и принимала как данность, что чашка изнутри сплошь как бы облита золотом – такая тонкая старинная чашка, давно утратившая в боях родное блюдце. Представить маму пьющей чай из чего-то другого было равносильно тому, как если бы солнце однажды отправилось в путь справа налево. И вот однажды эта же незыблемая чашка, сохранив идеально выписанный лиловый пион на боку, оказалась внутри примитивно белой, с затейливым вензелем на дне, а широкая золотая кайма уверенно шла теперь лишь поверху. В ответ на дочкино изумление – куда делось все золото из чашки?! – мама включила изумление – свое: «Ты что, Нина? Чашка всегда такой была. Ей уже лет сто, наверно. Раньше их целиком золотыми внутри, скорей всего, и не делали...» Папа выплянул из-за любимой «Вечерки» и с подозрением глянул на дочь – мол, что за странные у нее опять выкрутасы? – конечно, мамина чашка всегда была белая внутри, он даже иногда деликатно брал ее за хрупкую ручку и разглядывал доньшко на свет: такая тонкая работа, что окружность почти

не видно... Как такое могло получиться, если б чашка внутри была покрыта позолотой? Но Нина ведь тоже любовалась этой чашкой все детство и пол-юности! И именно золото, казалось, переливавшееся через край, прельщало ее...

Чашка и перчатка оставались хотя и загадками, но – были. А вот кольцо Нина сегодня опять проискала всю ночь. Ползала на животе, обливаясь потом, тяжело дыша и до резкой боли свернув шею на сторону, – нет, это ужасно, куда оно могло деться?!

– Просыпаемся! Животы подставляем!

Нина вздрогнула и открыла глаза: палату уже заливал безжалостный мертвенный свет длинной гудящей на потолке лампы – правда, ощущала она его пока только затылком, потому что уже четвертый день, как ей велено было лежать ничком не менее 16 часов в сутки («А лучше – двадцать четыре», – вполне серьезно добавил лечащий врач). Больная осторожно пошевелилась – боль из сведенной судорогой шеи выстрелила в ухо, затылок, плечо... Мыча от напряжения и обреченно ощущая, что воздуха сегодня не хватает чуть-чуть – но все-таки сильнее, чем вчера, Нина перевалилась на бок, помогая себе локтем, путаясь в длинной кислородной трубке, а потом мучительно плюхнулась на спину, одновременно привычным движением задирая рубашку, под которой живот превратился уже в сплошной огромный черно-багровый синяк. Фигура, упакованная в мятый одноразовый белый с голубым костюм химзащиты, уже оборачивалась к ней от тумбочки, блеснули мгновенным отсветом лампы огромные пластмассовые очки. Рука, негибкая в двух резиновых перчатках, уже равнодушно захватывала в складку черную кожу Нинино живота.

– Живого места нет... – донеслось из-под клювообразного респиратора. – Уж извини, дорогуша, но колоть-то все равно надо... Вот так... Давай лоб... – в голову прицелилось что-то вроде небольшого игрушечного пистолета, щелкнуло... – Тридцать восемь и девять... Палец давай... Не этот... – пульсоксиметр нежно прижал указательный... – Ты всю ночь на кислороде была или канюли только что вставила?

– Всю... – выдавила Нина и удачно изобразила припекшимися губами храбрую улыбку: – А что, не... очень? Сколько там?

– Девяносто три, – полсекунды поколебавшись, сказала медсестра. – Если б без кислорода, то нижняя граница... Сама, наверное, знаешь. А вот с кислородом не должно так быть. И температура... высоковата. Но доктор придет – разберется... – и девичья фигура, которой «скафандр» каким-то образом даже шел, подчеркивая юную летучесть и гибкость, решительно шагнула к соседней кровати, словно подчеркивая этим, что свое дело сестра сделала, а остальное – не в ее компетенции.

Нина откинулась на подушку, подавляя непроизвольное стремление снова и снова оттягивать ворот рубашки в попытках протолкнуть побольше воздуха в странно сузившееся, будто меховой лапой придавленное дыхательное горло или хоть отодвинуть невидимый лежащий на груди кирпич. Да что ж такое-то? Уже шестнадцатые сутки пошли, как она здесь, а все только хуже и хуже, и неизвестно, на сколько еще затянется! Хорошо хоть дома никто не ждет и не страдает, так что мучиться придется только одним – собственным – страхом и болью – не двойными, не тройными, как у остальных, прикидывающих, на кого в случае чего останутся дети... Живность домашняя – и та загодя пристроена... А в молодости у Нины был кот, названный ею в честь экзотического цветка какой-то заведомо недосыгаемой страны, обожаемый и единственный (ни один настоящий котолюбитель не поспорит с тем, что истинный кот –

как любовь – у человека в жизни может быть только один, сколько бы их впоследствии ни прошло через руки), но умер много лет назад, как раз когда она попала в больницу с приступом острого холецистита. Родители рассказывали, что до последнего дыхания измученный болезнью и старостью зверь, когда-то похожий на стремительного горного хищника, косил свои изумительные хризолитовые глаза на дверь, все верил, что войдет хозяйка, – войдет и спасет... Или нет – просто почешет под подбородком, проведет двумя пальцами меж острыми бархатными ушами, и лежок станет предстоящий неведомый путь.

– Нина, не расстраивайся... – крупная добрая женщина Лена с соседней койки смотрела большими, выразительными, усиленно сочувствующими глазами. – У моего деда восемьдесят шесть было – и ничего, сейчас планирует, как День Победы отпраздновать. Теперь, когда уже год эта зараза ходит, ее гораздо лучше лечить научились. И почти никто не умирает – только если кто уж совсем побочками обвешан – ну, диабет там тяжелый или рак... Или если человек старый очень, а тебе сколько – пятьдесят один? Ну, и не переживай. Сейчас еще денек-другой – и на выздоровление повернет прочно. Нин, ты не молчи, пожалуйста...

Ну да, конечно, уже и День Победы на носу. Нинину героически погибшему под Стрельной дедушке, названному собственными идейными родителями в честь Энгельса, невзирая на роковое противоречие с невозможной фамилией Паливода, на этот раз не шагать в Бессмертном полку...

– Мне трудно говорить, – глухо отозвалась Нина, с отчаяньем вспоминая, что еще вечером кислорода в ее крови было надежных девяносто семь процентов, и доктор, заглянув в листок, кивнул: «Очень хорошо!»; а всего одна ночь миновала – и нижняя граница нормы... Господи, пожалуйста, только не реанимация!

\* \* \*

– Ты серьезно? Зачем?

– Разумеется, это вышло случайно. Ниночка ведь выпускала своего хомяка из клетки иногда. Ну, и заснула она в тот вечер, решив, наверно, что уже отнесла его обратно. А эта тупая скотина... ты ведь не будешь утверждать, что хомяки умные, нет? Короче, он залез под мое вязанье, которое лежало на диване, – а я с размаху села сверху – и еще поерзала, вытягивая из-под задницы твой недовязанный жилет... В общем, от бедной Нюси мало что осталось. Я никому ничего не сказала и быстренько вынесла... тушку... в мусоропровод, а утром, как ни в чем не бывало, участвовала в бурных семейных поисках и утешала дочку, что, мол, «погуляет и вернется»...

– Несчастливая скотинка. Надо же, какая ужасная смерть.

– Ничего не ужасная. Сам знаешь... Помнишь, мы вышли с тобой из метро – и вдруг этот треск...

– Да. Отломился и рухнул на толпу дурацкий бетонный козырек у старой станции. Там погибло одиннадцать человек. Не напоминай, это ни к чему.

– Что уж теперь... Да и когда это было! Но я до сих пор не могу забыть, как Ниночка с такой надеждой искала свою Нюсю, звала ее так жалобно – а я слушала, и перед глазами стояла картинка... прямо скажем, неаппетитная: я снова и снова мысленно заворачивала в газету окровавленный меховой мешочек, совершенно плоский и рыхлый.

– Я тоже тебе признаюсь – только не в страшном, а в смешном. Лет через пятнадцать после того дня она тоже кое-что искала.

– Н-н... Не помню... Хотя, да! Серьгу, кажется?

– Кольцо. Здоровенное серебряное кольцо, скорее перстень. Я терпеть не мог его на Нинкиной руке. Такое грубое, аляповатое, для какого-нибудь маргинала-мужика, на мизинце татуированном носить, а не для нежной девушки. Так вот, она его выронила, кольцо куда-то укатилось и сразу не нашлось. А я на следующий день зашел к ней в комнату забрать со стола свою «Вечерку» – и вижу: лежит себе за ножкой стола, поблескивает. Я его поднял и выкинул.

– Теперь я спрошу: зачем?!

– А я отвечу, только без обид: чтобы добавить перцу в ту пресную жизнь, которую ты ей устроила. Она, должно быть, до сих пор думает, что кольцо провалилось в параллельный мир, гадает, как могла вещь исчезнуть совсем... Хотя что-то странное, интересное.

– Ну, положим... Эта шутка, конечно, в твоём духе, тут ничего не скажешь... Но почему это я «устроила ей пресную жизнь», можно спросить? Ты раньше мне не говорил такого...

– Раньше я тебя немножко боялся. То есть не тебя, конечно, а твоей реакции. Ты бы начала плакать, кричать и обвинять меня... «Она девушка! Ей матерью быть! Самое правильное и естественное для девушки – работать с детьми! Чтобы научиться всему! И стать в будущем хорошей матерью! А искусство сделает из нее проститутку!» Нина тоже боялась твоего крика и слез. Ей было легче разрушить свою жизнь, чем видеть, как ты колотишься в рыданиях. Вот и отправилась учиться на воспитательницу, хотя детей уже тогда терпеть не могла. Ну а потом, естественно, и возненавидела...

– Зачем ты наговариваешь на нашу дочь? Ни одна из нас не может ненавидеть детей. Тебе этого никогда не понять. Любая нормальная женщина любит всех ребятнишек и мечтает родить побольше своих.

– Да, но только если ее не заставляют это делать.

– Ниночку никто не заставлял. Я просто спокойно объяснила ей, что все эти творческие вузы не доводят до добра, а ей быть женой, матерью, и... Она мне, к счастью, тогда еще доверяла.

– Именно. Но только ни женой, ни матерью она так и не стала, если помнишь. И сдается мне, именно потому, что работала воспитательницей в твоём детском саду и успела так нанюхаться этих цветов жизни, что зареклась заводить такое чудо у себя дома.

– Нет. Просто она нарвалась на мужчину, который использовал ее и бросил... И, знаешь, теперь вообще лучше не говорить о подобных вещах... И нечего усмехаться! Прямо, как раньше...

– Да, но думать-то мне никто не запретит. Ладно. С чего мы начали? А, с кольца... Кстати, на тебе есть еще одна вина – вспомни перчатку.

– Перчатку я, между прочим не отняла, а, наоборот, принесла. Просто увидела, как Нина забыла ее на столе в нашей «стекляшке», когда перекладывала продукты из корзинки в сумку. Хотела позвать ее, чтобы вместе пойти домой, но потом с чего-то решила пошутить потвоему. Дочка ушла, а я взяла забытую перчатку и дома тихонько положила в прихожей на тумбу под зеркалом. Ты говорил – не надо, а я: «Давай над ней подиутим!» Как потом Нина удивлялась! Она ведь точно знала, что потеряла ее в универсаме! А я молчала – мне было приятно видеть Ниночкино изумление и чувствовать себя немножко

*волишебницей. Хотела, конечно, признаться со временем, но потом, знаешь, то одно, то другое... Так и забыла. А она, скорей всего, нет.*

*– Да, интересная у нас семья оказалась. Девочка до сих пор думает, что в ее жизни было целых два чуда. Я даже не знаю, хотел бы я или нет, чтобы она узнала, что это были вовсе не чудеса...*

*– Все равно ведь узнает когда-нибудь.*

*– Да. Одно утешает: чудо все-таки случилось – мы здесь. И она обязательно к нам... Слышишь, что там такое?*

*– Как всегда по воскресеньям. Опять, наверное, пришла посылка от Ниночки.*

\* \* \*

У Нины было одно, весьма сомнительное преимущество перед остальными недужными в палате: ее койка стояла у стены вдалеке от окна и батареи, что позволяло, во-первых, меньше страдать от упрямого, безжалостно пышущего даже теперь, в начале мая, жара (будто четверем страдалцам было мало собственного, сжигавшего изнутри), а во-вторых, – иногда, превозмогая резкую спастическую боль в безнадежно закаменевшей шее, отвернуть тяжелую голову и просто некоторое время *не видеть всего этого* .

Палата, в тучные времена – платная, двухместная, с – невероятная роскошь по нынешним временам! – отельным, вполне опрятным, даже кокетливым санузлом – во время эпидемии вынужденно сошла с пьедестала и превратилась в обычную душную живопырку. Широкая тумба была безжалостно изгнана из пространства между двумя удобными кроватями, и ее заменила третья, с жалобно поющей при каждом движении пациентки панцирной сеткой. Та же участь постигла и стол с телевизором – вместо них втиснули четвертую узкую и жесткую клеенчатую койку из смотровой, бросив поверх пятнистый комковатый матрас третьего срока, на который, пока он еще не был наскоро застелен больничной простыней, страшно было взглянуть.

Зато *не слышать* чаще всего не удавалось: невеселые разговоры трех других пациенток как начинались сразу после утренних уколов в живот и измерения неутешительных показателей температуры и сатурации, – так и замолкали далеко за полночь, очень постепенно увядая и еще несколько раз по нисходящей вспыхивая. Предметом вечных бесед – тишина здесь казалась очень страшной – служили дети, мужья и старенькие мамы, которых все женщины боялись больше никогда не увидеть, имея для этого вполне резонные основания: палата считалась тяжелой, без кислорода не лежал никто, у каждой из носа торчали прозрачные голубоватые канюли, от которых змеились гибкие пластиковые трубки, – и без этой ежеминутной поддержки таинственная «сатурация» критически падала; температурили тоже все четыре страдалицы...

В довершение всего окно палаты «удачно» выходило в торец здания, глядя прямо на узкую, мощенную плитами дорожку, ведущую к неказистому одноэтажному зданию, мрачное предназначение коего предстало перед ними со всею очевидностью очень быстро: поднявшись с койки, чтобы доковылять до санузла, и посмотрев по пути в окно, больные почти обязательно видели, как беспечный санитар в скафандре толкает по каменной тропке перед собой тяжелую увертливую каталку с тугим и длинным черным пластиковым пакетом на молнии. Пакетом, с которым каждая немедленно в мыслях отождествляла саму себя...



– А я матери-то, когда последний раз уходила от нее, сказала – пока, мамуль... И даже в щеку не поцеловала – поленилась наклоняться... Вот тебе и «пока»... А теперь просто поддержать бы ее за руку... Такая сухая маленькая ручка стала...

– А у меня дочке одиннадцать лет. Она мою помаду диоровскую сперла и губы намалевала – так я ее за холку взяла да и головой под кран сунула. Отмывай, ору, свою наглуую морду... Знать бы, что только два дня пройдет, и...

– А я, девочки, мужа прокившим супом накормила в прошлую субботу. Сын кастрюлю в холодильник убрать забыл и ушел, а жара-то какая... Я прихожу, нюхаю – точно, припахивает маленько, а ведь и половину еще не съели... Блин, думаю, полтора кило мяса пропало – жалко... А потом – а, наплевать, мой со смены вечером придет – схомячит за милую душу и не заметит, перца побольше положу. И схомячил... Если б сюда не загремела, то и не вспомнила бы. А теперь... Хоть бы посмотреть на него – и то за счастье.

– Да, вот и я все думаю: вдруг я своих теперь только на экране смартфона до конца жизни видеть буду, а слышать – через микрофон? И не потрогаю никогда, детей по головке не поглажу... Ох, девчонки... Мы ведь здесь без посещения, как в тюрьме... Видели, какую колючую проволоку поверх больничной стены нацепили? Из нашего окна тоже видно кусочек.

– Да, когда меня сюда привезли, я из окна скорой на посту у ворот росгвардейцев в противогазах и с автоматами видела.

– Точно, и надпись – осторожно, смертельно опасная инфекция...

– Да, бабы, попали мы с вами... И, главное, лечат наобум...

Нина тоже иногда умозрительно хотела бы поговорить о том, как ей мечтается подержаться сейчас за родную руку, поцеловать любимую макушку... Но о чем она может рассказать этим трем замужним мамашам – о том, что детей в принципе терпеть не может еще с тех пор, как тринадцать лет проработала воспитателем в детском саду? И, пока не начала жить одна, даже и помыслить не смела о бунте, подспудно почитая его за предательство... Хотела поступать на худграф, рисовала легко и с удовольствием, в студию не бегала – летала, а дома в ванной оборудовала фотолабораторию, где с упоением шаманила по ночам... Но мама – гордая и породистая, с греческим профилем, Софья Фридриховна (это у других девочек могла быть мама Соня или какая-нибудь мама Катя, а к ее матери уменьшительное имя категорически не шло) – устроила красивую бесслезную истерику, всегда пугавшую ее дочь и мужа до кишок. «Ты у нас поздний ребенок, мы с отцом ждали тебя двенадцать лет! И для чего? Чтобы ты так отблагодарила нас?! Чтобы превратилась в богемную потаскушку, которых штампуют эти так называемые творческие вузы?! Чтобы получила профессию, которой нет, и потом стала соержанкой в сомнительных кругах?! Чтобы мы даже умереть спокойно не могли, зная, что не выполнили свой родительский долг?!» За двенадцать лет бесплодного брака возможность беспрепятственного материнства успешно превратилась в идею фикс у Софьи Фридриховны, которая, родив, наконец, долгожданную дочку, не уставала повторять, что неосуждаемая цель всех женских устремлений, единственное оправдание самого существования женщины на земле – это бесперебойное воспроизводство и воспитание потомства. «Женщина, которая не мечтает о детях, – чудовище, понимаешь ты?! – трагически восклицала она, ломая брови и руки. – Нет, скажи, ты понимаешь это или нет?!» И легче было понять и признать, чем спорить. «Со мной, наверное, что-то не в порядке, если я так

не думаю, – испуганно рассуждала выпускница школы. – Если бы мама знала... Господи, она, наверное, не смогла бы меня любить!» Тогда Нина была к детям просто равнодушна – а неодолимое отвращение родилось, укоренилось и окрепло в подневольные годы, когда с маминой подачи ей посчастливилось работать воспитательницей в том самом садике, коим бесценно, многие десятилетия руководила Софья Фридриховна... Она, Нина, ненормальная, если ей кажется неприятным придурковатый восторг молодой мамыши, которая истово нюхает в детсадовской раздевалке мокрые колготки толстой слюнявой дочурки, при этом идиотически присюсюкивая: «А ктё этя у насъ тяжкой мокленький!..»? Или она действительно чудовище, если на работе не умиляется густой зеленой соплей, свисающей из ноздри задумчиво калякающего бессмыслицу на альбомном листе карапуза и не мчится вытирать ее голой рукой, а брезгливо командует няне: «Подотри вон тому нос салфеткой!»? И это неправильно – при виде малолетнего садиста, будущего маньяка, который на прогулке, сидя на корточках у куста, сосредоточенно отрывает лапки по одной у ни в чем не повинного бронзовика, желать немедленно оторвать ему самому – только не жестокие лапки, а сразу радикально – тупую и заведомо бесполезную в будущем башку? И она должна каждый раз не каменеть сердцем при виде многих прочих невинных детских шалостей, а мудро искать их причину в собственной педагогической несостоятельности? Впрочем, своего ребенка Нина, наверное, атавистически полюбила бы – из вселенской песни бытия слово «инстинкт» не выкинешь, – если бы захотела однажды его родить. Но, чтобы это желание пришло, освоилось и осталось, нужно было однажды хоть раз вдохновиться чужим материнством, – но такого случая Нине так и не представилось: все, наверное, какие-то неправильные материнства подворачивались... А теперь и вовсе исполнился пятьдесят один. И если так дальше пойдет, то о пятидесяти двух можно и не мечтать.

\* \* \*

– Ну, и чего ты добился? Посмотри на свои ожоги – ты же буквально спалил себе лицо! А глаза? Глаза целы? Не хватало только тебе ослепнуть от собственной наглости... Смотри, когда-нибудь этим и кончится! Ну неужели ты до сих пор не понял, что бесполезно, бесполезно, бесполезно – пытаться лезть вверх по горе?! Она неприступна для нас с тобой, прими ты уже это, смирись и успокойся! Чем нам здесь плохо?! Дом, сад, кот... Но каждый раз, как я из храма возвращаюсь, – ты ушел. И я уже знаю, в каком состоянии вернешься... Почему?! После стольких неудачных походов?! Вот я же не лезу никуда, только до беседки с фонтаном добираюсь иногда с Машей встретиться – и то мне ясно, что выше пути нет! На что ты надеешься?!

– На Божью милость. Но сейчас ты ошибаешься. Я не пытался лезть вверх. Я просто подумал после последней посылки: может, получится пройти не вверх, а вбок? По той же широте? Просто обогнуть гору? Сначала перевалить на восточную сторону, а там, глядишь, и на южную...

– И далеко ты добрался?

– Я почти увидел восточный склон... По-моему, там сплошь виноградники – как в Крыму, помнишь? – и даже море, кажется, вдалеке. Очень красиво... Но такая жара, что мне показалось, что я вот-вот сгорю, – и пришлось повернуть, а сердце так и разрывалось... Хотя несколько тамошних птиц все же пролетело над моей головой! Здесь таких нет. Просто умопомрачительные птицы – и как поют... Я только

миг слышал их пение, но оно так и осталось в душе занозой... Вот послушай... Попробуй услышать... Пожалуйста.

– Нет, не могу. Сколько ни пытаюсь – не получается...

– Ничего, в следующий раз...

– Какой еще следующий раз?! Ты хочешь сказать, что теперь будешь бесконечно рваться на юг? Так же, как раньше – к вершине?!

– Не получилось через восток – пойду через запад... Там может быть прохладней.

– Опять ничего не выйдет. Только обгоришь понапрасну.

– Соня, ты не понимаешь. Сейчас у меня ничего не получилось, потому что посылка была не от Ниночки. Я, когда ел тот пирог, сразу почувствовал чужую руку. Нет, все прекрасно, вдохновляюще, как всегда, – но не она посылала, а кто-то чужой. А ты ничего... странного не ощутила?

– Пожалуй. Но я сразу отмела эту мысль, потому что кто, кроме нее?

– Ну, может, она не смогла – скажем, заболела или уехала – и попросила кого-то... Но что гадать! В другой раз сама отправит – вот увидишь – это будет совсем другой вкус. И тогда уж я...

– Пожалуйста, не надо... Давай лучше поговорим о Ниночке. Помнишь, какая она у нас красавица? Волосы темно-пепельные, а глаза – ярко-голубые. И личико такое точеное, белое, как сметана, и фигурка – загляденье. Когда мы вместе шли по улице, то я все время замечала, как мужчины и парни оборачиваются ей вслед...

– Почему же ты тогда всю жизнь уверяла ее, что она дурнушка?

– Да это чтобы она выросла скромной! Чтобы не вздумала наряжаться и вести себя, как вертихвостка! Чтобы не растратила свою красоту на недостойных мужчин, а берегла ее для единственного! Чтобы не держалась так нагло и уверенно, как это делают те, которые считают себя красотками!

– Она и сберегла себя для единственного. Который разбил ей сердце и сломал жизнь.

– Но не в моих силах было это предвидеть, Сергей! Я хотела как лучше. Разве я могла предположить, что со своей красотой Нина выберет самого неподходящего мужчину! Я верила, что она пойдет моим путем не только в профессии, но и во всем, – а я-то ведь сделала хороший выбор и была с тобой счастлива в браке...

– Да. Это так. Но только у каждого свой отдельный путь.

– А правда хорошо было бы взять ребенка за руку, провести по жизни широким хорошим путем, подальше от всех этих обрывов и пропастей, – и не беспокоиться за него? Но, к сожалению...

– К счастью. К счастью, нельзя его взять и провести.

– Да ну тебя... Смотри-ка, а кот навострил уши! Будто прислушивается к чему-то...

– К отдаленным шагам, например. К тем, которые мы еще не можем слышать, а он – может. И вообще весь какой-то встревоженный...

– Глядя на него, я начинаю надеяться.

\* \* \*

Большая добрая Лена умерла в их палате первая.

– Завтра буду на выписку проситься, – как всегда, легонько задыхаясь, заявила она накануне. – Одышка – это у меня из-за веса, сколько себя

помню, верней, после родов, с тех пор, как разнесло. Но врачам же не докажешь. А у меня мать одна в квартире сидит, на волонтеров покинутая... Хватит мне уже тут жариться – дома батареею проклятую хоть отключить можно, завтра так и скажу нашему чуреку... – имелся в виду чем-то напоминавший крепкого низкорослого степного коня их лечащий врач из бывшей союзной республики, где жара никого не пугает.

Лена в очередной раз вытерла мокрый лоб пухлой пястью, за безымянный палец которой было больно – так глубоко врезалось в него широкое обручальное кольцо, – и с облегчением принявшего окончательное решение человека откинулась на подушку. Но наутро раскосые глаза степняка, лечившего своих больных исключительно «по клеточкам», – то есть попросту зачеркивая на листе в соответствующих графах заранее и не им напечатанные назначения, – даже под бесцветными очками, придававшими сходство с марсианами всему лечащему персоналу, выразительно полезли на лоб.

– Ваш сатурация, – с медицинскими терминами, относившимися к модной болезни, доктор был очень даже в ладу, в отличие от русской грамматики, – сегодня очень низкий. Только восемьдесят восемь. Я сейчас приглашу к вам заведующий, – растерянно сообщил он удивленной пациентке.

– Вот дурак, – тихо удивилась Лена ему в спину. – Мне сегодня гораздо лучше, и температуры почти нет. Там, наверное, девяносто восемь. Девятку с восьмеркой перепутал. Чурек, он и есть чурек. И хорошо, что заведующий сейчас придет. Его-то я и заставлю меня выписать.

Но никто из болящих не поддержал бодрых прогнозов соседки – наоборот, повисла недоверчивая страшноватая тишина. Дальше все происходило быстро и жутко: тонконогий, угловато вышагивающий в белочерном скафандре, убийственно похожий на аиста, добывающего у себя под ногами лягушку, завотделением лично измерил Лене содержание кислорода в крови, ничего не сказал и неприметно кивнул медсестре. Та открыла дверь, в свою очередь, тоже кивнула кому-то – и в палату немедленно въехала высокая дребезжащая каталка. На Ленины изумленные возражения слаженно работавшие медики внимания не обращали, будто посторонним назойливым шумом были вполне искренние уверения в том, что она, определенно, почти выздоровела; ей только бросили на ходу: «Ложитесь в одной рубашке»... Она так и уехала, все силясь приподняться на жестком гнущем ложе, – недоумевающая, глупо-покорная бледная туша в промокшей рубашке в синий цветочек... Уже вечером за нехитрыми пожитками пришла санитарка – и странно осиротевшие обитательницы палаты, присмирив, наблюдали, как бесцеремонно и небрежно бросает она в рыжий клеенчатый мешок все подряд – тапочки вперемешку с зубной щеткой и расческой, растрепанную книгу поверх стакана с брякающей ложечкой; как, скомкав, запикивает халат, сует дорогой смартфон и беспроводные наушники... Боясь поинтересоваться, куда забирают имущество отбывшей, каждая убеждала себя, что просто это привычно, с легким скифским варварством освобождают дефицитное койко-место, а Лену, когда переведут из реанимации, положат в другую палату... Они бы так и верили в это изо всех сил до конца собственных дней, если б одна из них, не выдержав пытку очевидностью, не решилась с заковыристой простотой спросить хмурую санитарку:

– И куда теперь ее вещи?

Решив, на что и был расчет, что вопрошавшей все уже откуда-то известно, та сухо проговорила:

– В дезинфекцию, потом родственникам отдадут. Такой порядок.

Воцарилось мучительное молчание – только три бокастых кислородных концентратора, весело булькая и разве что не подпрыгивая, выдували в тонкие трубки прохладный газ последней надежды.

\* \* \*

– Коты в этом никогда не ошибаются. Помнишь, в Петербурге он всегда знал, когда Ниночка где-то на подходе к дому, – за четверть часа начинал дежурить в прихожей! Как собака... Кстати, здесь я никогда не видела ни одной собаки. Разве не странно?

– Им тут нечего делать. Их работа – защищать хозяев и их дома, а здесь – от кого нас защищать? Хотя, пожалуй, хорошо, что у нас никогда не было собаки, – вдруг мы бы скучали по ней?

– Не знаю. Никогда их не любила. А в нашем доме без них и подавно хорошо – и тогда было, и сейчас. Нам довольно кота, правда? Что, Сережа, не стесняешься теперь брать его на колени?

– Нет. Я ему очень благодарен. Он словно связывает нас с Ниной. Особенно теперь, когда кажется, что она уже где-то близко. Вот появится – и будет все точно так же, как тогда: мы с тобой, наша дочка, этот кот... Даже твоя чашка с золотой каемкой.

– Кстати, чашка... Она ведь никогда не была полностью золотой внутри? Только ободок? Я ничего не путаю?

– Да, конечно, такой широкий, я прекрасно помню... Почему ты спрашиваешь?

– Так просто... Нет, Сереженька, так же не будет – и к лучшему. Я как подумую, что слишком уж наша дочка настрадалась... Ведь она его... этого... столько лет любила... Наверно, и сейчас любит. Только его одного – других и видеть никогда не желала. Почему?! Мы ее с такими женихами знакомили! А он обращался с ней хуже, чем с собакой, бросал на много лет, женился на другой, разводился, вновь с ней заигрывал, а потом опять оскорблял по-всякому... А Нина все равно его ждала и каждый раз к нему возвращалась, – на первый же свист бежала, именно как собака. Еще и годами содержала, когда он работать отказывался. Даже в дом к нам, родителям, его привести стыдилась, но себя так переломить и не смогла, силы воли не хватило. Может, болезнь у нее такая?

– Я и сам часто задавался этим вопросом. Но теперь, здесь, перестал. К чему? Есть загадки, которые нам разгадать не дано. Вернее, их просто не положено разгадывать тем, кому они не предназначены. Ну а Ниночка, я уверен, рано или поздно раскроет эту тайну.

– Но я – мать, и имею право задумываться, почему так поступили с моим ребенком!

– Да брось, Соня. Какие у нас теперь права... Сидим здесь, на северном склоне, – и слава богу, что хоть у самого подножия прилепились. Могло быть много хуже, сама знаешь.

– То-то ты все рвешься то вверх, то на юг.

– Да. Неугомонный я тебе достался. Но ты ведь знала, за кого выходила...

– Нет. Все сорок шесть лет я каждый день открывала в тебе что-то новое. Неизменным с самого начала оставалось только одно – твоя вопиющая небрежность. Неужели трудно было, например, застегиваться на нужные пуговицы? Помнишь, мы с Ниной ехали в гости, и на эскалаторе по пути наверх ты застегивал куртку наугад и как попало,

при этом размахивая свободной рукой и с выражением декламируя Каррансу, – неудивительно, что промахнулся даже не на одну, а на две пуговицы... Потому мы и задержались, выйдя за стеклянные двери, – ведь не могла же я допустить, чтобы ты так и пошел по улице... И, главное, я тебя почти успела переастигнуть!

– Да, а Нина уже сбегала по ступенькам на асфальт и раздраженно звала нас снизу – давайте скорей, что вы там застряли, мы же опаздываем...

– Я, представь себе, даже помню, что ты тогда цитировал из этого колумбийца: «Все хорошо. И росный луг, и эти / восторженные ветви на ветру. / Все превосходно. Праздник поутру / проснувшейся природы. Свет и ветер...». Тогда я, конечно, не знала, что слушаю пророчество, но все-таки...

– Да. Он словно знал, где мы поселимся, чтобы его вспоминать, а я как специально выбрал именно это стихотворение... Что с тобой?

– Вот теперь я слышу. Почти отчетливо... Совсем как кот! Ну, прислушайся же!

– Да. Теперь нет сомнений. Хотя я еще и не слышу ничего, но мать и кот – это уже кое-что.

– Смотри, он точно собрался встречать, как тогда! Позови его!

– Сейчас... Я от волнения забыл, как его зовут... Что-то горное... Какие-то снежные вершины...

\* \* \*

Нет, ну, не может же быть... Вот так – раз и все, считай, на ровном месте... Кашель – не такой уж и сильный, температура... Подумаешь! Ведь считай, жизнь только началась, и ничего толком еще так и не получилось. После бегства из детсада – металась, металась по всяким конторам – то кружок кройки и шитья для взрослых вела, то в типографии верстальщицей после каких-то невнятных курсов, то... И вот лишь полгода назад прилепилась к одному по-хорошему здоровому коллективу – наплевать, что фирма черепицу продает, а Нина накладные сверяет, зато называется уважительно – менеджером, а главное – атмосфера теплая, люди душевные, работа как второй дом... Вот и сейчас в соцсетях уже почти родные климактерические девчонки не забывают посылать улыбочивых котиков и пишут наперебой: «Крепись!»; «Верь в себя!»; «Настройся на выздоровление!»; «У тебя получится!»; «Держим кулачки!»...

Словом, где-то вдалеке забрезжил над жизнью бледный рассвет, и пожалуйста – утром, как гром среди ясного неба:

– Сатурация критически снижается. Вы не волнуйтесь... Вам нужна более основательная кислородная поддержка. Надеюсь, что неинвазивная, обойдемся маской. Пока...

Да нет, зачем себя обманывать, никакого ясного неба давно уж не было, и гром ожидался со дня на день, даже, пожалуй, запоздал... Почему-то все приходил на ум какой-то давний молочный коктейль с тоненькой трубочкой, по которой она счастливо втягивала его в себя – уже не ледяной, густой, отдающий вишневым сиропом... Так теперь тщи-лась тянуть в легкие кислород – жиденькой ненадежной струйкой – часто, прерывисто, со странным шипением. А ужас, наоборот, шел мощными волнами – высокими, упругими и черными, захлестывал с головой, – и тогда хотелось, заломив руки, с первобытным криком выскочить в коридор, хватать там кого попало за руки, умолять о спасении... Но уже

трудно стало поднимать разбитое болью тело – и волна, сухо облизав, отваливала, оставляя жертву распластанной на последнем берегу.

Все, как с Леной: узкая длинноногая каталка, стыдное и неуклюжее карабканье на нее, страшные взгляды товаров с мятых постелей – правда, телефон она зачем-то ловким воровским движением спрятала под рубашку, смутно чувствуя, что иначе связь с живым миром будет обрезана раз и навсегда («Вам потом вернут»... Когда – потом?!); повезли заранее ногами вперед, выдернув из ноздрей хлипкие канюли, – и оказалось, что без них она – просто жалкая бесправная рыба, выловленная сачком из аквариума в дорогом супермаркете. На исходе зимы при ней там выловили живого карпа для одной женщины, сунули, извивающегося, в белый пластиковый пакет, завязали и шлепнули поверх клейкую бумажку с ценой и штрихкодом. Покупательница небрежно пихнула приобретение в железную тележку и отправилась дальше в путь между яркими рядами соблазнительных товаров; потом Нина случайно столкнулась с ней на кассе – и увидела, как среди других покупок судорожно колотится длинный белый сверток... «Хреново ж ему там сейчас», – помнится, равнодушно констатировала она – и вот не прошло и трех месяцев, как сама превратилась в такого же приговоренного к съедению карпа, только было ей много хуже: бедолага просто физически мучился моментом, не осознавая неумолимого грядущего, погибающий же человек с отчаяньем заглядывал в разверзающуюся впереди бездну... «Но почему я непременно должна как Лена?! Ведь многие отсюда возвращаются – подышат из маски – и возвращаются, их даже к ИВЛ не подключают! Я – худая, а Лена была толстая, толстые часто умирают от этой заразы, а худые всегда выздоравливают! Боже мой, Боже, за моими вещами так же придет санитарка...»

– Здесь придется подождать немножко. Там койку обеззараживают, – и незнакомая тощая «космонавтка», привезшая Нину прямо к стеклянной двери с надписью «Реанимация», исчезла из помутневшего окоема.

Больная осталась одна в широком коридоре, где гулял приятный сквозняк, и тогда сквозь почти привычное, явное и несомненное страдание вдруг стало назойливо проступать другое, до поры задавленное, усиленно отрицаемое, но всегда неумолимо побеждавшее в любой борьбе...

Да что там думать – Нина его и сейчас любит, после всех этих издевательских тридцати лет. Даже в этот момент, перед последней дверью, – все равно любит. Как любила и в тот день, когда, невинно ища таблетку от головной боли, нашла у него в ящике стола бархатную коробочку с золотым кольцом – и сердце зашло от счастья. Но Леша резко выхватил у подруги немного укусивший ее за палец футляр, и твякнул: «Не хватай! Твое какое дело – может, я жениться собрался!» «Н-на ком?..» – потрясенно выдавила Нина, у которой перед глазами быстро меркло видение ее самой, но в подобающей случаю фате и кружевном платье. «Ну не на тебе же!» – отрезал чужой жених. Несостоявшаяся невеста, глотая слезы, поплелась на его кухню, чтобы успеть до ухода домой, к родителям, перемыть тарелки... Но любить не перестала. Конечно, не на ней – женятся на красивых и нарядных, веселых и умных, а она – глупая и унылая серая мышь. Мама так и говорит постоянно: «Одевайся сдержанно! Не с твоей внешностью обращать на себя внимание, люди смеяться будут – такая дурнушка, а разодета в пух и прах!» «Пусть я некрасивая, но ведь интересная же?! – иногда с отчаяньем спрашивала Ниночка Софью Фридриховну. – Меня ведь полюбит кто-нибудь?!» «С чего ты взяла, что ты интересная? Совершенно неинтересная. На лице один нос торчит, и тот кривой, волосы цвета половой тряпки. А покрасишь – еще хуже станут.

Вдобавок, говорить с тобой не о чем, двух слов нормально связать не можешь, мозгов не больше, чем у цыпленка, – любой вокруг пальца обведет, – неумолимо отвечала та. – На таких, как ты, женятся не за красоту и ум, а за чистоту, скромность и любовь к детям. Только это и нужно в жизни, остальное – так, мишура...» Дочь прекрасно усвоила материнские уроки – и не думала в чем-нибудь упрекать Лешу, когда после трех лет брака с другой женщиной он неожиданно позвонил (Нина в магазине положила коробку молока мимо тележки, и та с глухим хлопком взорвалась на каменном полу, обдав несколько человек белыми брызгами, как осколками, – да наплевать!) и буднично, словно они расстались накануне, позвал к себе. Дома у него все оказалось по-прежнему: засохшая плесень на посуде в раковине, мышинными шкурками свернувшаяся пыль по углам, гора неглаженной одежды в кресле, десяток заляпанных разнородной грязью кроссовок в прихожей... Через несколько часов все сияло хирургической чистотой – а Леша небрежно теребил волосы Нины, счастливо припавшей к его плечу, и философски курил, пуская к потолку густой дым цвета голубиной грудки... Несколько месяцев она весело носилась с тяжелыми сумками, неустанно изобретала на кухне кулинарные шедевры, настойчиво таскала любимого по врачам, потому что в который раз оказалось, что за время их очередной разлуки его здоровье снова драматически пошатнулось... Потом он опять пропал на много лет, чтобы строить суровую мужскую жизнь с новой *настоящей* женщиной, достойной рыцарской любви, серенад и подарков. А Нина, на поверхности собственной души открещиваясь от унижительного, рабского чувства, давая страшные клятвы и зароки, внутри себя никогда не сомневалась, что вновь помчится к нему, раскинув руки, чуть только услышит в трубке единственный, дорогой, равнодушно-ласковый голос...

«За что мне это, за что?! – думала она и теперь, часто, по-собачьи, дыша в больничном коридоре в ожидании, когда ее доставят к одру страданий. – Почему у других хотя бы есть, что вспомнить перед смертью, а у меня – только гнусное служение человеку, который не испытывал и тени благодарности?! Чем я так провинилась, за чьи грехи расплачиваюсь так жестоко?!» Ответа и быть не могло – но нагретый от жара ее голого тела телефон под рубашкой – был. Нина не слышала безнадежно любимый голос два с половиной года, пять месяцев и одиннадцать дней. Однажды этот голос уже научил ее, как звонить первой: «Кто тебе разрешил названивать?!» – но теперь Нина готова была даже на эти четыре слова, лишь бы услышать его вообще. Хоть раз. Последний.

– Это кто?

– Леша, это я... Нина... Только не бросай трубку!

– А-а, это ты...

– Леша, я в больнице... Я все-таки подцепила эту... эту дрянь...

– А я переболел легко.

– Меня везут в реанимацию... И мне кажется, что я уж оттуда живая не выйду...

– Да, у нас на работе тоже двое умерло. Сейчас многие умирают... Слушай, давай потом, я занят, в багетной мастерской рамку заказываю.

– Леша, я не смогу потом... Я буду в реанимации... Там отнимут телефон... Поговори со мной... О чем-нибудь! Пожалуйста... Расскажи мне... Расскажи, зачем ты рамку заказываешь...

– Фотку деда вставить ко Дню Победы. Того, который под Стрельной был ранен. Меня к нему родители пацаном часто отправляли. Хороший был старикан.



– А мой дед погиб на войне... именно... под Стрельной...

– Да, там целая дивизия полегла. Мой тоже чуть не погиб. Его тогда на поле боя одна крыса штабная раненого помирать бросила – спасибо, санинструктор на него наткнулся, увидел, что живой, хоть и кровью истекает.

– Кры... Крыса?..

– Да, адъютант какой-то. Дед говорил – немчура, потому что звали его, кажется, Карлом, как Маркса... Или нет, как Энгельса... Забыл... Фамилия, правда, хохлятская – что-то вроде... Неразлейвода... Точно не помню, но имя-фамилия дурацкие. Говорит, сволочь, – извини, мол, лейтенант, сейчас каждый за себя... Правда, далеко не убежал: через десять шагов снарядом накрыло... Короче, ладно, дело давнее... Ты давай там, не дрейфь, я позвоню, как дел поменьше станет.

– Леш, ты не понял, я уми... Леша!!! Леша!!!

Нина не знала, что в ней еще осталось столько слез, – и когда они неостановимо, будто кто-то внутри повернул клапан, хлынули, то дышать стало невозможно вовсе: хрипя и захлебываясь, она в смертной муке приподнялась, раздирая ворот рубашки. Кто-то мягко подхватил ослабевшую женщину поперек спины, сквозь слезы проступило удивительное зрелище: не «космонавт»! Обычный мужчина в широкой синей футболке, с мягким брюшком, с бородкой...

– Женщина, милая, вы лучше сидите, не ложитесь... А плакать нельзя... Нам здесь никак нельзя плакать... – чужие глаза смотрели на нее по-женски участливо, почти нежно.

– Вы тоже... здесь... лежите?.. – в несколько приемов заглотив по ничтожной порции воздуха, нашла в себе силы спросить Нина.

– Да, с анализов вот в палату возвращаюсь, – улыбнулся товарищ по несчастью.

– А я – всё... кажется. В реаним...мацию везут, – в Нине начал неумолимо закипать мелкий нервный смех. – Вот только койку... домоют... После предыдущего... покойника...

Но собеседник не стал уговаривать ее крепиться и верить в себя, а глянул почти сурово:

– Если так, то вы... причаститься... не хотите? Я грешный иерей Николай, и, когда забирали меня сюда, взял с собой на такой случай, – его ладонь с благоговением легла на грудь, на витиеватую надпись «Russia», под которой Нина только теперь заметила что-то объемное, висящее у собеседника на шее.

– А... а можно? – наивно спросила болящая.

– Если вы верите в Бога, то уже нужно. Даже необходимо, – пришел спокойный ответ.

Она растерялась:

– Я... верю... вроде... за родителей вот в церкви... записки обязательно подаю... А когда они... В общем, мы из метро вышли... Понимаете, я уже внизу стояла, на асфальте... под лестницей... А мама стала папе куртку застегивать... Прямо у дверей... Шарф там... ему заправлять... Он сам не умел, верней, не любил, всегда ему что-то мешало... Я только крикнуть успела – ну скоро вы там... И вдруг – грохот и пыль столбом... Будто снаряд... Я зажмурилась – и тишина такая... Такая... Глаза открываю – передо мной ни лестницы... ни дверей метро... ни родителей... Только руины... Потом сказали – козырек... бетонный... отломился и всех под собой... ну... Короче, я на следующий день в церковь прибежала... Меня научили в трех монастырях на вечный помин подавать...

Сказали... сказали – это им там навсегда... как пояса... золотые... будут... Но я и дальше... все годы... записки ходила писать, чтобы эти, как их... частицы вынимали... за упокой... И даже теперь, когда увозили сюда... соседку попросила отнести записку, денег дала ей... Потому что вдруг им... там без этого плохо... – с мучительными остановками для судорожных сиплых вдохов, как умела, рассказала Нина.

– Значит, верите. Не верили бы – не писали бы, – тихо сказал он. – Сложите руки на груди вот так.

Одной ладонью Нина упиралась в жесткий край своего железного ложа и, отпустив его, пошатнулась. Двери реанимации разъехались, выпустив двух «космонавтов» – зеленого и белого, которые сразу же хмуро шагнули в сторону каталки. Священник остановил их движением руки столь властным, что санитары невольно отступили, чувствуя, что здесь свершается нечто гораздо более важное, чем их обязанности, и более страшное, чем то, что происходит за раздвижными дверями.

Отец Николай осторожно вытянул за шелковую ленту предмет, висевший у него на шее, – и зачарованной Нине на миг показалось, что в ладонях у него сверкнуло маленькое, но ослепительное солнце.

– Повторяйте за мной, как сможете: «Вечери Твоя тайная...»

\* \* \*

– Ирбис! Ирбис! Папа, он так быстро несется вверх по горе, словно знает, куда ведет нас!

– А что ты хотела, дочка, – там его прародина, ты же сама назвала его в честь высокогорных кошек – снежных барсов. Вот он, наконец, дождался тебя – и, конечно, хочет показать те места, к которым всегда стремился.

– Как – кошек?! Барсов?! Когда я называла котенка, я думала, что ирбис – это такой цветок... Какой-нибудь экзотический... Как странно.

– Странно другое: мы так легко идем за ним по этой сумасшедшей круче – и свет ничуть не обжигает... Раньше я и ста шагов от дома в сторону вершины не мог пройти, почти слеп от белизны, ноги кровоточили и были как в колодки закованы... А теперь посмотри вниз: видишь – далеко внизу – в просвете вон того облака – маленькое красное пятнышко? Нет? Да я сам уже почти не вижу... Но это крыша того дома, где мы с Соней и Ирбисом ждали тебя. Соня, а ты видишь?

– Нет. Там темно – диву даюсь, каким образом мы вообще что-то различали, когда жили у подножия? А как я теперь буду видеться с Машей? Ведь в той розовой беседке, оказывается, тьма-тьмуца!..

– И это образуется, ты скоро убедишься.

– Сергей, как ты думаешь? Если наш кот здесь станет настоящим ирбисом – он приведет нас к тем горным цветам? Ну, о которых люди говорили...

– Наверное... Ирбис! Ты хитрый зверь – почему раньше не показал мне эту тропу, когда я так рвался вверх – и возвращался опаленный и униженный, а ты и ухом не вел?

– Рано было. Неужели ты не понимаешь? Он не хотел уходить без хозяйки, но не знал, сможет ли она пойти за ним. А раз Нина спокойно идет, то и мы тоже: те, кто любит друг друга, здесь не разлучаются. Представляешь, доченька, – всегда, когда приходила от тебя посылка, папа становился сам не свой – все рвался то вверх, то на южную сто-

рону... А Ирбис с ним не ходил, не показывал тропу – вот папа и возвращался ни с чем.

– Кстати, Нина, – а последнюю ведь не ты посылала? Она была какая-то не такая, как раньше, – то, да не то. Как не из твоих рук.

– Да, папа, это соседка, по моей просьбе. Я сама не могла... Ой, смотрите, наш Ирбис уже на какой-то поляне... Только хвост гуляет среди цветов... Какая красотища... Я таких никогда не видела.

– Это эдельвейсы, дочка. Те самые высотные цветы северных склонов... Значит, все правда.

– Здесь правда вообще все...

– Хватит философствовать, давайте лучше выберем дом!

– А... разве мы не пойдём выше и южнее?

– Видите – Ирбис остановился... Значит нам суждено остаться на севере, с ирбисами и эдельвейсами.

– Вам троим... А я, кажется... Я, наверно, приду сюда попозже... Но это будет уже навсегда.

– Ниночка! Куда ты?! Почему?! Сергей, она уходит! Ну, сделай что-нибудь, ты же мужчина!!

– Не удерживай ее, Соня... Подождём ещё немного. Северный склон – это вовсе не так плохо, как мне раньше казалось.

Прозрачный воздух еле заметно дрожал, словно сам не мог вынести своей чистоты и прозрачности. Огромные дикие кошки, невозмутимые, бело-черные, с глазами цвета отражающих ясное зимнее небо льдинок, царственно возлежали на высоких отрогах, скрестив и свесив мощные мягкие передние лапы. Покачивались на узкой высокогорной поляне словно из колючего ослепительного инея изваянные цветы с острыми лепестками и золотой сердцевинкой. Далеко внизу неслись ледниково-голубые облака, изредка являя в просветах веселую солнечную долину с цветной россыпью разновеликих крыш. Но вершина горы, по-прежнему недоступная и ничуть не приблизившаяся, все так же окутана была непроницаемым туманом, в котором лишь иногда, смутным намеком, проступало нечто слишком величественное, чтоб это можно было представить, – и сердце любого, взглянувшего вверх, непременно начинало горько ныть от запоздалых сожалений о несбывшемся.

И все же некоторых так никогда и не покидало вечное стремление ввысь.

\* \* \*

– Меня... утром привезли? Я... сознание потеряла, да?

– Только не волнуйтесь... Все хорошо. Вы в реанимации. Пробыли на ИВЛ двадцать шесть дней в искусственной коме. Но теперь мы вас полностью отлучили от аппарата – очень постепенно и осторожно. Сейчас вы дышите самостоятельно, дело идет на поправку. Но, чтобы полностью выздороветь, вам предстоит еще долгая и серьезная работа, так что потребуются много сил и времени...

– Да... До эдельвейсов... добраться трудно... Если б вы знали... как они высоко...

– О чем это она, доктор?

– Ничего особенного. Еще сохраняется легкая спутанность сознания. Скоро пройдет.